

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ: КОНЕЦ ПУТИ?

В 1930 году, в своем известном Письме к Правительству Михаил Булгаков кратко, ясно и честно изложил свои убеждения и художественные устремления, среди которых было «упорное изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране». Что стоит за этой высокой оценкой? И насколько заслуженной она была?

Об интеллигенции как об оригинальном, чуть ли не уникальном российском феномене написаны сотни томов, по ее поводу высказаны тысячи остроумных и глубокомысленных аргументов «за» и «против» нее. В намерения мои не входит рассмотрение, пусть даже беглое, всех этих сведений и суждений. Цель настоящей статьи — несколько субъективных соображений о становлении и судьбе интеллигенции как социально-культурного явления, с отсылками к литературным его отображениям и постижениям.

Без нескольких исходных определений, однако, не обойтись. В России XIX века слово «интеллигенция» поначалу обозначало, как и в странах Европы, свойство индивида, высокий уровень его умственных способностей. Однако позже этим понятием стали определять — и это было уже российское новшество, хотя, как утверждают, нечто близкое имело место в Польше — совокупность людей, объединенных не только уровнем образования, но и особым, нравственно ориентированным мироощущением, а также сознанием общего долга по отношению к стране и народу. Самой характерной и определяющей особенностью людей, образующих российскую интеллигенцию, стала забота не о «своем», индивидуальном или групповом, а о «чужом» и всеобщем.

На Западе всегда хватало трудолюбиво-бережливых бюргеров, предприимчивых дельцов, дерзких первооткрывателей, да и просто «интеллектуалов». Кроме того, там с давних времен разные сословия и социальные группы умели отстаивать свои интересы, и, во всяком случае, существовало публичное пространство, в котором их представители могли об этих интересах заявить. Принцип «Каждый за себя, один Бог за всех» воплощался в политические, юридические, идеологические механизмы.

В России «образованный класс», обретя самосознание где-то в середине XIX века, обнаружил себя посреди бесчисленной массы бедного, невежественного, бесправного и угнетенного населения. Здесь было кому сострадать, за кого болеть душой. И — произошел редкий случай зарождения «неформальной общности» на почве идейно-гуманных устремлений. Тысячи людей разных профессий и родов занятий — врачей и учителей, агрономов и инженеров, адвокатов и художников —

Марк Фомич Амусин — литературовед, критик. Родился в 1948 году. Докторскую диссертацию по русской филологии защитил в Иерусалимском университете. Автор книг «Братья Стругацкие. Очерк творчества» (1996), «Город, обрамленный словом» (2003), «Зеркала и зазеркалья» (2008), «Алхимия повседневности» (2010). Статьи публиковались в журналах «Время искать», «Звезда», «Нева», «Знамя», «Вопросы литературы», «Новый мир». Живет в Израиле.

приняли на себя старую вину привилегированных слоев за беспросветное и отчужденное состояние народа вместе с обязанностью работать на благо «меньших братьев».

Сам этот порыв, надличный и спонтанный, делает, разумеется, честь образованному слою России. Именно он способствовал конституированию интеллигенции как особой и уникальной социально-культурной группы.

Литература, естественно, отображала этот процесс, совершавшийся в обществе. Тургенев одним из первых уловил пришествие разночинной интеллигенции (в мандельштамовских «рассохлых сапогах»), отодвинувшей разрозненные группы дворянских интеллигентов. Герои-интеллигенты действуют на страницах произведений Лескова, Боборыкина, Гаршина.

Но тут же возникла и полемика. Многие видели в интеллигенции нечто наносное, чужеродное, опасное для «органических устоев» народной и общественной жизни. Достоевский был среди самых внимательных и пристрастных критиков. Раскольников с его воспаленным рационализмом и навязчивым протестом — конечно, интеллигент. К интеллигентам нужно отнести и язвительно обрисованный в «Бесах» кружок «наших», подручных демона Верховенского. Но ведь и Разумихин в «Преступлении и наказании», и Шатов в «Бесах» — тоже интеллигенты...

Российское образованное сословие не просто участвовало своей профессиональной деятельностью в постепенном наращивании «общественного богатства» — оно придало мощный импульс цивилизационному развитию страны. Интеллигенция была движущей силой земского проекта — а ведь в его рамках за несколько десятилетий в российской провинции была создана сеть дорог, появилось множество школ, заметно улучшилось медицинское обслуживание — услуги врача или фельдшера стали доступны чуть ли не в каждой деревне.

Не забудем, однако: практические усилия, труды этих людей вдохновлялись высоким общественно-нравственным идеалом. Он включал в себя бескорыстное служение общему благу, поиски истины, переустройство народной жизни на основах справедливости и братства. Российская интеллигенция образовала что-то вроде обмирщенной церкви или рыцарского ордена: со своим негласным уставом, правилами поведения, символами веры. Одним из символов веры была оппозиционность правительству, которое воспринималось (и во многом по праву) как косная и бездушная сила, препятствующая свободному развитию общества. При всем многообразии идейных устремлений тогдашней интеллигенции общим приоритетом оставалось критическое мышление, формирование независимого общественного мнения.

Но самым важным был взнос интеллигенции в «духовную казну» страны. Обсуждая, анализируя прошлое и настоящее России, критически мыслящие личности формировали «поле смыслов», создавали динамическое напряжение, которое только и могло подталкивать правительство и общество к изменениям. Озабоченные положением народных масс и судьбами страны, российские интеллигенты вырабатывали образы будущего, своего рода футурологические импульсы, пусть порой смутные или утопические. Без этих импульсов развитие страны (что бы ни говорили тогда и сейчас консерваторы и ревнители старины) шло бы еще труднее и медленнее.

...Идеалы идеалами, а жизнь жизнью. Разумеется, лишь немногие из десятков тысяч представителей интеллигенции были способны постоянно жить и действовать в соответствии со своими убеждениями. У большинства — пар во многом уходил в свисток, то есть в красивые слова. Да и вообще природа человеческая брала свое: носители знаний и весьма востребованных в России профессий привыкали к своему привилегированному материальному положению, к достатку и комфорту. Принципы и заветы понемногу амортизировались, личные заботы и интересы выходили на первый план. При этом сохранялась «родовая память» о миссии,

о предназначении, и, соответственно, индивидуальное и коллективное интеллигентское сознание обременялось комплексами и угрызениями.

Именно в это время российская интеллигенция обрела самого талантливого своего летописца и аналитика — Антона Чехова. Ему довелось запечатлеть, с большой пронизательностью и критической точностью, и будни интеллигентской жизни конца века, и формы ее миро- и самоощущения, и психологический разлад, и ценностный кризис, охвативший эту человеческую общность.

На страницах его повестей и рассказов живет и действует множество врачей, юристов, инженеров, учителей, университетских преподавателей, банковских служащих, людей искусства. Вот очень характерный для интеллигентского сознания фрагмент размышлений следователя Лыжина, героя рассказа «По делам службы»: «...он чувствовал, что это самоубийство и мужицкое горе лежат и на его совести; мириться с тем, что эти люди, покорные своему жребию, взвалили на себя самое тяжелое и темное в жизни — как это ужасно! Мириться с этим, а для себя желать светлой, шумной жизни среди счастливых, довольных людей и постоянно мечтать о такой жизни — это значит мечтать о новых самоубийствах людей, задавленных трудом и заботой...»

А в другом рассказе, «Дама с собачкой», Чехов лаконично очерчивает образ жизни преуспевающего интеллигента того времени: «Мало-помалу он [Гуров] окунулся в московскую жизнь, уже с жадностью прочитывал по три газеты в день... Его уже тянуло в рестораны, клубы, на званые обеды, юбилеи, и уже ему было лестно, что у него бывают известные адвокаты и артисты и что в Докторском клубе он играет в карты с профессором. Уже он мог съесть целую порцию селянки на сковородке...»

Контраст этих двух отрывков многозначителен. И в других своих произведениях, включая знаменитые пьесы, Чехов показывает, что жизнь его героев отмечена разрывом между риторикой и делом, между воодушевляющими мечтами и прозаичной действительностью, между высотой помыслов и убогостью свершений. Все это оборачивается тоской, апатией, мазохизмом, ощущением абсурдности существования. В такой атмосфере живут и Иван Петрович Войницкий с Астровым («Дядя Ваня»), и сестры Прозоровы с Вершининым и Чебутыкиным («Три сестры»), и «светлая личность», вечный студент Петя Трофимов («Вишневый сад»).

Причины этого надлома на рубеже веков — объективные. Дело не только в том, что «материя» человеческой природы всегда берет верх над «духом». Просто преобразование тяжелой, инерционной российской действительности усилиями одного-двух поколений тружеников и борцов оказалось задачей неподъемной. Слишком многое оставалось на стадии надежд, прожектов, красивых слов.

Не стоит, однако, недооценивать слова, их магию и силу. К чести российской интеллигенции, она и самим фактом своего существования, своими убеждениями и устремлениями, не всегда воплощавшимися в действия, меняла реальность в стране. Эта среда — с ее интересами, вкусами, моделями поведения — становилась центром притяжения для других, менее образованных слоев. Она смягчала нравы, повышала степень солидарности и сочувствия в обществе.

Интеллигенция со своим дискурсом альтруизма и служения ближнему оказывала облагораживающее влияние и на молодую российскую буржуазию. Быть просто толстосумом, эксплуататором, сдирающим семь шкур с рабочего человека, становилось в общественном сознании «не комильфо». Промышленники, финансисты, торговцы, признававшие авторитет интеллигенции, все чаще обращались к меценатству, жертвовали на проекты просвещения и культуры, а то и брались за улучшение условий труда и жизни рабочего класса.

...Тем временем наступил XX век, неся с собой стремительные изменения в жизни страны. О судьбах интеллигенции в ту пору размышляли писатели и мыслители разного толка: Гарин-Михайловский и Леонид Андреев, Горький и Бунин, Белый и Блок, Мережковский и Розанов, Бердяев и Гершензон. Российский «образованный класс» становился все более идеологически дифференцированным. Он исторгал из себя и посылал на поле политической брани то легкие эскадроны эсеров, то железные когорты социал-демократов, закованные в марксистскую броню. Но преобладал по-прежнему либерально-прогрессистский «мейнстрим» с надеждами на конституцию, реформы, права личности и широкое просвещение. Самые общие устои и принципы интеллигентского мироощущения, мировидения сохранялись.

Потом грянула революция, перевернувшая весь уклад российской жизни. Часть интеллигенции примкнула к Белому движению, а потом очутилась в эмиграции. Незначительное меньшинство примкнуло к революции по идейным соображениям. Большинство было вынуждено принять советскую власть как свершившийся факт.

Сама эта власть относилась к интеллигенции двойственно. С одной стороны, большевики подозревали «образованных» в слишком сильной привязанности к старому режиму, в тоске по утраченному материальному благополучию, в неистребимом идеализме и индивидуализме. С другой стороны, страна отчаянно нуждалась в «специалистах». Поэтому курс в 20-е годы был выбран следующий: все блага (в разумных пределах) профессионалам и деятелям культуры, лояльным советской власти; никаких прав и побряжек интеллигенции как слою.

Для самой интеллигенции, как и для всего народа, это было время тяжелых физических испытаний, давления, но к ним добавлялись жестокие сомнения, колебания, поиски пути. Нужно было самоопределяться по отношению к новой реальности. Все это отражалось на страницах литературных произведений 20-х годов, пусть и глухо, подспудно.

Ностальгия по ушедшему «золотому веку» интеллигенции разлита в атмосфере «Белой гвардии» и «Дней Турбиных» Булгакова. Бывшие и настоящие врачи, офицеры, студенты почти не ведут отвлеченных дискуссий, не рассуждают о судьбах мира. (Правда, в их разговорах проблескивают искры ярости по отношению к тому, что Булгаков теперь, в пореволюционное время, считает интеллигентским прекраснородушием и глупостью, приведшими страну к катастрофе.) Но строй жизни и человеческих отношений в доме Турбиных, «за кремовыми шторами», присущие героям достоинство и деликатность любезны и дороги автору.

Надежда на то, что островки порядка, достатка и здравомыслия могут сохраниться и посреди победившей революционной стихии, ясно звучит в «Собачем сердце». Профессор Преображенский может позволить себе довольно агрессивные выпады против нового жизненного строя, а почему? Потому что он высококвалифицированный, ценный «спец» — советская власть не может обойтись без него.

Интеллигенция, однако, хотела другого признания, другого статуса. Многие ее представители тогда еще надеялись, что смогут найти достойные формы сосуществования и сотрудничества на благо России с коммунистами — ведь их руководящее ядро само имело интеллигентские корни. Леонид Леонов в своем многостраничном, витиеватом и «достоевском» «Воре» околично рассуждал о важности интеллигенции для сохранения национальной памяти, духовной и нравственной преемственности, без чего стране грозят варварство и одичание. Тему интеллигенции в послереволюционной реальности резко и ярко поставил Юрий Олеша. Его блистательно-отрывистый роман «Зависть» вывел на жесткое рандеву героев, представляющих противоположные социокультурные формации. Кавалеров воплощает собой классический тип индивидуалиста и мечтателя, художника, отстаивающего

свое право на независимость, автономность от власти и времени, на артистический каприз. Вдобавок автор поделился с ним своей безудержной фантазией и редким метафорическим даром. Оппонент его Бабичев — тоже выходец из бывшего образованного класса, но убежденный большевик, практик социалистического строительства, пионер и конструктор советского общепита.

В этой схватке, принципиальной и одновременно личностной, Олеша отдает победу Бабичеву, хотя по типу ему, конечно, ближе романтик Кавалеров. Олеша признает правоту эпохи, отбрасывающей носителей интеллигентских амбиций и комплексов на обочину истории — что, в сущности, вскоре произошло и с ним самим.

Константин Вагинов всегда относился к советской действительности со скепсисом, который почти не удосуживался скрывать. Похоже, только тяжелая болезнь и ранняя смерть уберегли его от тех форм «критики», которых не избежали ни Пильняк, ни Платонов, ни Булгаков. Гротескные же образы и сюжеты его книг проходили под маркой сатиры на отживающие формы жизни. В таких романах, как «Козлиная песнь» и «Труды и дни Свистонова», писатель демонстрировал «тканевую несовместимость» интеллигентов старого закала и современной реальности. Вагинов, выбравший для себя в литературе роль «похоронных дел мастера», представлял своих персонажей чудаками, изгоями, экзотическими пришельцами не то с других планет, не то из других эпох. Ясно, что в новой «экологической среде» они не жильцы.

Особой была в этом подспудном споре позиция Вениамина Каверина. Поначалу он, активный «серапионов брат», отстаивал автономию искусства, неангажированность художника и интеллигента вообще. Однако к концу 20-х годов он взял курс на участие в общем социалистическом деле. Интересна его трактовка роли интеллигенции в этот период. Роман Каверина «Художник неизвестен» явно перекликается с «Завистью». Здесь тоже действуют и сталкиваются интеллигенты-антагонисты Шпекторов и Архимедов. Шпекторов сродни Андрею Бабичеву. Он тоже деятель, прагматик, считающий, что исторический момент требует полной человеческой отдачи ради создания материальной базы социализма, ради индустриализации и развития науки. Все остальное — потом.

Архимедов целиком принимает революцию. Он, однако, видит целью социализма преобразование всего строя жизни, прежде всего эстетическое и этическое. Романтик Архимедов считает, что прошлое нельзя отбрасывать целиком. Он хочет взять из истории человечества не только художественные достижения старых мастеров, но и высокие слова и чувства, воодушевляющие образы и жесты. Он хочет поставить на службу революции рыцарскую доблесть, бюргерскую честность, профессиональное достоинство цеховых мастеров средневековья. Финал романа гораздо менее однозначен, чем у Олеша, и оставляет за Архимедовым право служить социализму на свой особый лад.

Правда, несколько лет спустя, в романе «Исполнение желаний» Каверин уже трактует тему интеллигенции намного «конвенциональнее». Там молодой филолог Трубачевский, созревая, постепенно изживает в себе себялюбие, тщеславие, соблазны «красивой жизни». А вот интеллигент старой, индивидуалистической складки Неворожин пестует в себе эти качества, что и ведет его прямым путем к преступлению и предательству...

К середине 30-х годов стало ясно, что российская интеллигенция в своем классическом виде, как самостоятельный социально-культурный слой, пришла к концу. Многие представители этой генерации продолжали жить и работать, но они уже не были носителями уникальных моральных ценностей и особого мировидения. Народившаяся же генерация новых советских специалистов руководствовалась совсем другими убеждениями и принципами. Об этом можно судить, например,

по произведениям Леонова и Катаева, Паустовского и Шагинян. Образы «новых интеллигентов» в «Ювенильном море» и «Счастливой Москве» Платонова одновременно схематичны и крайне экзотичны, они свидетельствуют о появлении — по крайней мере, в художественном сознании автора — нового человеческого типа, очень слабо связанного с традициями прошлого.

Потом было известно что: «большой террор», война с ее несметными потерями и разрушениями, тяготы послевоенного восстановления. Казалось, традиция российской интеллигенции, рухнув в 30-е годы, была обречена на полное забвение, уход в небытие. Однако, вопреки всякому вероятию, случился род чуда: во второй половине 50-х начали возрождаться многие элементы интеллигентской инфраструктуры.

У этого чуда были объективные причины. Первая из них — развитие в СССР атомного и ракетно-космического проектов. Десятки тысяч ученых и инженеров, и раньше трудившихся на разных «народно-хозяйственных объектах», осознали, что они создают «щит и меч» государства, почувствовали свою особую важность — и некую коллективную ответственность. Самые продвинутые представители советской технической интеллигенции стали претендовать на род духовной независимости — этот психологический настрой прекрасно передан в фильме М. Ромма «Девять дней одного года».

Другим фактором консолидации интеллигенции стала, конечно, «оттепель». Ситуация после XX съезда КПСС воздействовала прежде всего на людей искусства. Началось быстрое оживление в «творческих союзах». Появились первые признаки самоорганизации, инициативы снизу: альманахи, неформальные литобъединения, театры вроде «Современника» и Таганки.

Освежающую струю в духовную атмосферу страны внес и Фестиваль молодежи 1957 года — он катализировал молодежно-интеллигентскую «субкультуру». Дух этой субкультуры, с ее раскованностью, тягой к бескорыстному познанию и творчеству, новыми формами поведения и общения, ощущением причастности к некоему «братству» нашел замечательное воплощение в искрометной повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу».

Советская интеллигенция начала конституироваться, как и сто лет назад, в особую, по-своему автономную социальную общность. Конечно, ее мироощущение и *modus vivendi* во многом отличались от «прототипа» XIX века. Например, народолюбие и жалость к народу выпали из ее канона: ведь интеллигенция в той же мере, как и весь народ, стала жертвой исторических потрясений, а у партийно-государственного руля стояли формально представители «трудящихся классов».

Намного менее выраженной была и интеллигентская оппозиционность по отношению к власти — память о сталинских репрессиях была слишком сильна, как и представление о прочности и «эшелонированности» режима. При этом, однако, интеллигенция постепенно проникалась сознанием своего общественного предназначения. В условиях догматической зашоренности официальных кругов, разрыва исторической преемственности, идейной трясины многие «свободные умы» начинали критически анализировать давнее и недавнее прошлое, искать варианты и альтернативы движения страны в будущее. Стали вызревать концепции (пусть во многом доморощенные) конвергенции, социализма с человеческим лицом, нового «почвенничества». В интеллигентской среде обретали престиж, лидерский статус столь разные фигуры, как Сахаров и Солженицын, Зиновьев и Шафаревич, Жорес и Рой Медведевы, Эйдельман и Ильенков, Лихачев и Лотман. Борьба «социалистической оппозиции» в лице «Нового мира» Твардовского с догматическо-охранительной линией кочетовского «Октября», длившаяся все 60-е годы, была в этом смысле весьма показательной.

И само собой, у интеллигенции появлялись свои «культурные герои» и кумиры, противостоявшие официально назначенным генералам от культуры. Что особенно важно — многие из этих знаковых фигур входили и в широкий народный «пантеон», формировали моду.

Интеллигенция вновь становилась «кузницей смыслов», создавала пространство общественной рефлексии и критики, брала на себя функцию восстановления связи времен, предвидения будущего. Нельзя сказать, что в массе своей она была настроена антисоветски, но, как и в начале века, самые «пассионарные» ее представители уходили в диссидентство, в противостояние власти.

...При всех отмеченных выше объективных факторах и обстоятельствах этот процесс возрождения не состоялся бы, если и в самые ненастные времена отдельные личности не сохраняли бы в себе генетический интеллигентский код, нормы и формы поведения, присущие «старой интеллигенции», представления о человеческом достоинстве, порядочности, о приемлемом и неприемлемом в моральном плане.

Самым точным, строгим и проникновенным изобразителем интеллигентского образа жизни, мышления и поведения был Юрий Трифонов. В его романах и повестях представлена настоящая энциклопедия жизни советского «образованного класса» 40–70-х годов, а главное, выявлена — через образы и ситуации — тончайшая субстанция, придающая качественную определенность этому человеческому типу.

Герой повести «Долгое прощание» Гриша Ребров — молодой литератор, пытающийся «пробиться» в трудные послевоенные годы. Он подрабатывает очерками для радио, ответами на письма и архивными заметками для тонких журналов. По-настоящему же его волнуют исторические темы: декабристы, народовольцы, фигуры вроде Ивана Прыжова и Клеточникова. Все это не ко времени — его повести и пьесы не берут ни театры, ни редакции. Но вместо того, чтобы обратиться к жизнеутверждающим сочинениям о борьбе новаторов с перестраховщиками на производстве или пойти литературным поденщиком к успешному драматургу, он упрямо продолжает думать и писать о своем: о глухом подвижничестве, об озарениях, ослеплениях и тупиках, о борьбе и смерти. Он «запрограммирован» на поиск смыслов, на углубление в недра истории и человеческих характеров, на постижение истины.

К той же породе принадлежит и Сергей Троицкий из «Другой жизни». Он историк, и хотя на дворе не сталинская эпоха, а благополучные 60–70-е, жизнь его не намного легче, чем у Реброва. Сергей занимается революционной историей, но не магистральными аспектами темы, а глухими, обочинными: списками сотрудников охраны накануне Февральской революции, предательством и провокацией. Диссертация его вязнет в осложнениях, тормозится. Важно еще и то, что Троицкий — из чистоплюйства, максимализма? — отказывается принимать правила игры в его институте, отказывается войти в «маленькую бандочку», собираемую его прежним приятелем, а нынче начальником Климуком ради совместного покорения карьерных вершин.

Сергей бывает упрям и суетен, нелеп и несерьезен, может быть, он не такой уж и талантливый ученый. Но им владеет страсть к исследованию и постижению, бескорыстная страсть к погружению в прошлое, к прослеживанию «нитей», проходящих сквозь поколения. В этом он видит не только научную задачу, но и разгадку неких глубинных тайн бытия.

С Антиповым из «Времени и места» Трифонов поделился многими деталями своей биографии. Герой — человек творческий, связавший свою судьбу с литературой и в то же время погруженный в бурный поток советской жизни — от предвоенных до «застойных» лет. И снова автор выявляет на будничных, неброских житейских примерах основополагающие свойства натуры Антипова, делающие его несомненным

интеллигентом в лучшем смысле этого слова. Еще молодым человеком Антипов втянут в щекотливую коллизию, связанную с авторскими правами, плагиатом, «блатом» в некоем издательстве. Ему предлагают выступить экспертом в суде. На первый взгляд в этой кляузной истории «все хуже». Углубившись, Антипов убеждается, однако, в том, что один из участников конфликта руководствуется в своих внешне неприглядных действиях благородными мотивами. И он дает в суде экспертизу «по совести», хотя на другой стороне находится человек, способный «зарубить» дебютную книгу Антипова.

Сходным образом герой ведет себя и в других ситуациях, когда честность и принципиальность могут навредить, а сделки с совестью — принести очевидную выгоду. Трифонов вовсе не представляет Антипова образцом морали или негибаемым бойцом — уступки, компромиссы, противоречия вовсе ему не чужды. Однако для него очень важно в главном не изменять себе, своему моральному чувству, своему представлению о подлинной литературе.

На страницах произведений Трифонова действуют и совсем другие герои — намного более слабые, или прагматичные, или готовые приспособляться к обстоятельствам, такие, как инженер Дмитриев из «Обмена» или переводчик Геннадий Сергеевич из «Предварительных итогов». Но и эти люди способны различать между добром и злом, склонны судить самих себя за неблагоприятные поступки. Они остаются привержены интеллигентскому кодексу саморефлексии и угрызений совести, пусть и бесплодных.

Конечно, убеждения, моральные нормы, правила порядочности были в интеллигентской среде вовсе не общераспространенными и не обладали императивной силой. В быту, в поступках, в мыслях представителей этого слоя очень многое определялось конъюнктурой, себялюбием, заботой о личных интересах. Жизненные обстоятельства еще в большей мере, чем в чеховские времена, склоняли к самопопустительству и цинизму. Идеинный и поведенческий конформизм навязывался всем строем советской жизни. Система поощряла в людях бесхребетность, бесцветность, стремилась вывести породу «человека без качеств».

Блестящей, отчасти даже памфлетной демонстрацией такого положения вещей стал роман Битова «Пушкинский дом». Молодой Лева Одоевцев, отпрыск семейства, в нескольких поколениях принадлежавшего к русской интеллигенции, изображен фигурой аморфной, бесхарактерной, лишенной внутреннего стержня. У него нет ни убеждений, ни воли, ни сколь-нибудь верного понимания окружающей жизни. Все, что Лева унаследовал от живой и мощной когда-то традиции, — это неплохо развитый интеллект да некоторая моральная брезгливость, помогающая ему избегать слишком уж сомнительных и «компрометантных» ситуаций. Таков, по мнению Битова, печальный итог эволюции интеллигенции в условиях советского эксперимента. Впрочем, яркий талант автора, острота и парадоксальность его анализа не делают подход и выводы Битова абсолютно бесспорными.

Совсем в иных ракурсах предстают интеллигенты (хотя тут как раз напрашивается солженицынский термин «образованцы») в произведениях Владимира Маканина. Маканин, как и Трифонов, продолжал чеховскую традицию, но в ее скептическом, абсурдистском изводе. Люди вообще и интеллигенты в частности у Маканина целиком погружены в мелочную бытовую суету, податливы на соблазны, лишены остойчивости. Но повинен в этом не советский строй, а имманентный порядок вещей: «так природа захотела».

Маканин неистощим в иллюстрации своих главных постулатов: жизнь человеческая определяется нехитрыми закономерностями «энергетического» характера, борьбой за место под солнцем, за жизненные ресурсы и блага, которых на всех не

хватает. Все остальное — игра вероятностей и случайностей. В своих коротких повестях-«рентгенограммах» писатель дает сжатые и безжалостные эскизы повседневного существования своих персонажей, принадлежащих к интеллигентскому сословию. В повести «Отдушина» инженер Михайлов, математик Стрепетов, поэтесса Алевтина — люди без твердых моральных правил, ситуативные, влекомые потоком жизненной стихии. Чувства, человеческая близость — это хорошо, это добавляет тепла в ледяную воду жизни. Но если обстоятельства того требуют — можно отказаться от чувства, уступить близкую женщину сопернику, за разумное, конечно, вознаграждение. В «Человеке свиты» инженер Митя Родионцев настолько срastaется со своей функцией спецпорученца — даже не при директоре, а при директорской секретарше, — что отлучение от этой неформальной должности оборачивается для него чуть ли не катастрофой.

«Один и одна» — нелицеприятный, даже шаржированный эскиз советской интеллигенции времен «оттепели», шестидесятников. Маканин язвительно выявляет главные изъяны и слабости тогдашних активистов, «кумиров»: словоохотливость, переходящую в болтливость, отсутствие глубоких знаний и твердых убеждений, неспособность к долговому трудовому усилию, робость перед властью (как это близко к упрекам, справедливо звучавшим в адрес интеллигенции предреволюционной!). Создается, правда, впечатление, что у писателя были личные счеты со временем и с этой человеческой генерацией.

Впрочем, в повести «Отставший» Маканин более объективно и доброжелательно изобразил атмосферу 60-х и людей, ею сформированных.

Что ж, выдвигая в своем анализе на первый план такие качества советского «образованного класса», как стремление к материальным благам, моральную шаткость, готовность плыть по течению, склонность к самолюбанию, Маканин был по-своему прав — так же, как и Трифионов, подчеркивавший в своих героях совсем другие свойства. У этой «медали» было даже не две, а много сторон и граней.

Так или иначе, будь она хороша или дурна, интеллигенция советского периода в 70–80-е годы играла все более важную роль в духовно-психологических сдвигах, совершавшихся подспудно в стране. Самым общим из них была окончательная дискредитация официальных идеологических приоритетов и ценностей, навязываемых властью обществу в качестве канона. Это очень существенно сказалось на динамике горбачевской перестройки. Конечно, процесс перемен был запущен сверху, частью партийно-государственной элиты, интеллигенция тут не могла претендовать на «первородство». Однако в том, как быстро стали рушиться стены, перекрытия и потолки советского «здания», ее заслуга несомненна. Другое дело, что роль этого слоя, как выяснилось задним числом, оказалась преимущественно негативной: разъедаемая своей иронией, фрондерством, «духом анализа и отрицания» конструкции старого порядка, интеллигенция не сумела выработать оригинальных и творческих альтернатив, полностью положившись на западные образцы-прописи (либеральная ее часть) или на заветы православия и славянофильства (традиционалисты, почвенники).

«Буря и натиск» перестройки завершились крушением советской власти, развалом империи, возникновением новой российской государственности. Сбылись, и очень быстро, самые смелые интеллигентские фантазии. Но тут-то и обнаружилась обратная сторона мечты об открытом, демократическом, рыночном обществе. У советского образованного класса, привыкшего жить в субсидируемом государством умеренном достатке, почва была выбита из-под ног. Интеллигенты-бюджетники разом оказались «людьми воздуха». Профессии врачей и инженеров, учителей и научных работников, библиотекарей и «деятелей искусств» резко обесценились либо оказались

вовсе не нужными. Пришлось переквалифицироваться в мелких торговцев, челноков, распространителей гербалайфа, если не в бомжей или мошенников.

Хуже того — невостребованным оказался весь традиционный интеллигентский нарратив. Дело не только в том, что кончились разом бесконечные кухонные посиделки, где давался простор вольномыслию и критике, что поэтика намеков, иносказаний и кукишей в карманах, довольно изошренная и по-своему плодотворная, обесценилась. На оголенных просторах новой реальности некого стало критиковать, не с чем стало бороться — ведь тоталитаризм рухнул, свобода была обретена, восторжествовали инициатива и конкуренция. Исчезли привычные точки приложения усилий, да и думать приходилось не о вечном и всеобщем, а о насущном и своем — как выживать, как найти свое место в общем рыночном пространстве.

Тяжелый удар получила и российская словесность. Публика, которую десятилетиями приучали к «советскому» и «антисоветскому», с облегчением обратилась к легким жанрам, дарившим иллюзорные альтернативы неуютной действительности.

Лишь к концу 90-х литература оправилась настолько, что смогла снова обратиться к рефлексии, к осмыслению характера и масштабов совершившихся перемен. Но и это делалось точно, в очень конкретных и узких ракурсах. Общая картина как-то не давалась художникам слова, да это и естественно: ситуация менялась слишком быстро и слишком лично их затрагивала. Здесь можно выделить, пожалуй, только роман Маканина «Андеграунд», в котором, среди прочего, было жестко и внятно сказано о переходе российского общества в новое, постсловесное, постлитературное качество.

Позже, в 2000-е, стали появляться произведения, в которых осмыслялись разительные изменения, потрясшие российское бытие — и строй интеллигентской жизни в частности. Тут можно отметить книги Славниковой и Слаповского, Быкова и Юзефовича, С. Витицкого и Мелихова и многих других. Остановлюсь вкратце на двух из них.

Героиня романа Е. Чижовой «Терракотовая старуха» в своей «бывшей», советской ипостаси — филолог, классическая интеллигентка-«западница», почти диссидентка и поклонница Томаса Манна. Очутившись — вместе со всей страной — в новом социальном измерении, Татьяна сначала бьется как рыба об лед, а потом по счастливой случайности обретает место внутри успешной коммерческой структуры. Однако — ненадолго. Бизнес-реальность ставит перед ней поистине «достоевский» вопрос: можно ли убить человека — даже подленького «зверка»-несуна, даже во имя торжества справедливости и «капиталистической дисциплины»? Для ее шефа, как и для подавляющего большинства его партнеров и соперников, здесь нет вопроса. Но героиня, в силу заложенной в ней «интеллигентской матрицы», не в силах переступить эту черту. Она выходит из игры — и снова оказывается на обочине жизни.

Парадокс и ирония ситуации в том, что Татьяна вовсе не идейная противница меркантилизма. В интеллигентской традиции бессребреничества ей всегда чудился привкус ханжества. Она вполне принимает концепцию материального преуспевания, она признает значение денег в современной жизни — отказывает им лишь в абсолютном значении. Но и эта скромная оппозиция господству золотого тельца обрекает героиню на скорбное одиночество посреди «прекрасного нового мира».

В романе петербургского прозаика С. Носова «Грачи улетели» нет напряженных коллизий, едкой саморефлексии и мучительных размышлений о бремени «литературности». Здесь все просто, плоско, смешно и горько. Троица друзей, бывших интеллигентных людей, обретается в Питере начала 2000-х: один сторожит заброшенное кладбище, другой директорствует в школе, третий включается в перформансы

концептуального искусства. Все они люди симпатичные, хоть и чудаковатые, все пытаются как-то сохранить свою человеческую сущность, не раствориться в кислотно-рыночной среде. Жизнь их, однако, не только скудна материально, но и показательно обделена смыслом, какими-либо устремлениями и упованиями, выходящими за рамки сиюминутности. Это — своего рода трагифарсовый реквием по российской интеллигенции.

Может создаться впечатление, что все сказанное выше подтверждает тезис о «вечном возвращении»: после очередного социального катаклизма духовная, культурная ситуация в стране и статус «образованного класса» оказались близки к тому, что было после большевистской революции. А значит, можно надеяться на новый цикл возрождения интеллигенции, как это случилось прежде...

Так, да не совсем. Нынешний кризис — намного глубже и серьезнее кризиса 20-х годов прошлого века, хотя никакая злая воля не «прессует» нынешних интеллигентов и время от времени произносятся ритуальные похвалы раритетной традиции. Слишком тяжелый урон был нанесен образованному сословию. Помимо экономического крушения его постигла утрата социокультурного престижа, позиции духовного лидерства в обществе.

Причины тому — не только актуальные, но и эпохальные. Нынче в России, как уже давно на Западе, востребованы не люди широкого видения и служения, а грамотные специалисты в узких областях — эксперты. И русская интеллигенция XIX века, и советская второй половины века XX видели свое сверхэмпирическое призвание в генерации/отстаивании ценностей, будь то религиозных или атеистических, в утверждении общезначимых истин и идеалов. Сегодня «дискурс ценностей» заменен дискурсом денег, власти или соблюдения традиций. А идеалы, идеи, убеждения — неизвестно, куда их приложить.

Это заметно и в литературе: герои мыслящие и сомневающиеся, правдоискатели и даже просто любящие свое дело вытеснены если не «офисным планктоном», то носителями силы, брутальной протестной энергии, трикстерами, манипуляторами, политтехнологами — смотри книги о современности Прилепина и Сенчина, С. Минаева и П. Крусанова, тех же Славниковой, Юзефовича, С. Носова.

Сверх того — интеллигенция в обеих своих прежних ипостасях выполняла функцию связи времен, сохранения исторической перспективы. Она обращалась к прошлому и будущему в поисках идеальных моделей, мотивов и обоснований жизнедеятельности. В XXI веке и прошлое, и будущее утратили релевантность. Мы живем под знаком постмодернистского «вечного сегодня». Завтрашний день скорее пугает, чем вдохновляет, а прошлое — оно ведь было так давно! И в нем не было гаджетов! Смыслозадающие «большие нарративы», значительные образы и темы становятся предметами игровых ток-шоу, спекуляций, «мифологий». К чему же тогда носители чувства истории?

Так что же — конец? Похоже, что да. В конце концов, ничто не вечно. Россия, очевидно, вступила в тот фазис своего жизненного цикла, где формации «интеллигенция» нет места и назначения. Посмотрим, какие новые фигуры, центры силы, могучие иллюзии и путеводные звезды соткнутся из нынешних сумерек.